

МИТРОПОЛИТ
АНТОНИЙ
СУРОЖСКИЙ

A photograph of a tall, white, multi-tiered church tower with a golden onion dome and a cross on top. In the background, there are smaller church buildings with blue domes and golden crosses. The scene is set against a clear blue sky.

О ВСТРЕЧЕ

митрополит Антоний Сурожский

О встрече

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63758376

*О встрече / Митрополит Антоний Сурожский: Сатисъ; Санкт-Петербург; 2021
ISBN 5-7373-0012-9*

Аннотация

Книга представляет собой сборник бесед и интервью, опубликованных большей частью в периодике последних лет. Однако многие из этих изданий малотиражны («Церковь и время», «Литератор») или практически недоступны читателю в России («Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего экзархата»). При таком составе сборника неизбежны некоторые повторы: есть темы, к которым Владыка Антоний обращается часто; мы намеренно предпочли однако дать тексты без сокращений, в их первоначальном виде.

Несколько слов о «жанре» публикуемых текстов. Владыка никогда не пишет, не готовит свои выступления заранее. Такой подготовкой является вся его жизнь, целиком направленная к единственной цели: нести людям Евангелие Христово. Все вопросы и жизненные ситуации сегодняшнего дня вплетаются в евангельскую канву и возвращаются к слушателям живым словом, убедительным именно цельностью слова и жизни. Тексты

печатаются с минимальной редакторской правкой ради того, что бы сохранить это звучание живого слова, обращенного не к безличной аудитории, а к каждому отдельному человеку.

Книга открывается пространным автобиографическим рассказом о ранних годах жизни Владыки. Для тех читателей, у которых эта книга – первая встреча с митрополитом Антонием, дополняем его краткой справкой о внешних вехах его жизни.

В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

Содержание

От издателей	8
Без записок	11
Конец ознакомительного фрагмента.	45

**Митрополит
Антоний Сурожский
О встрече**

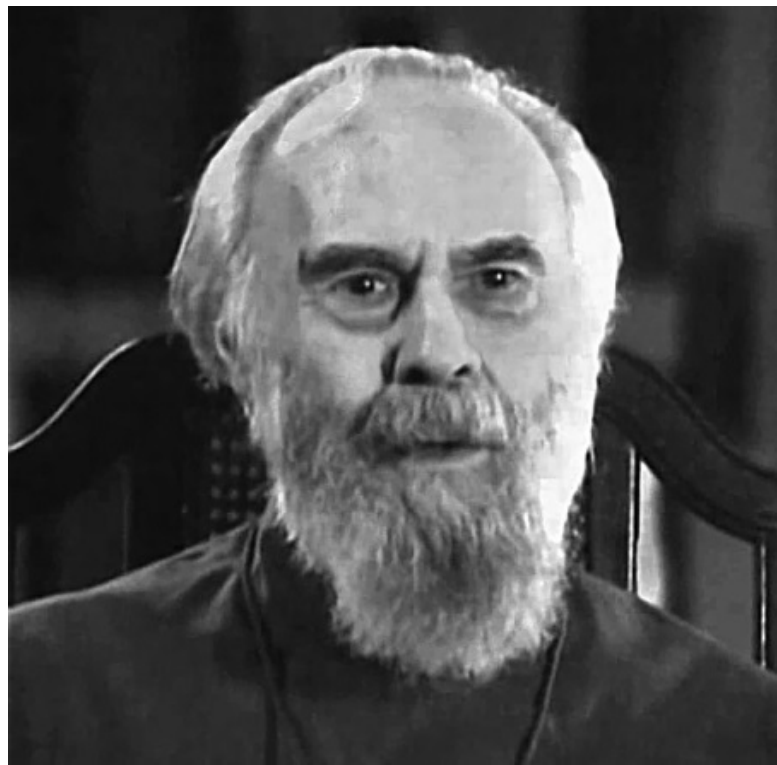


Множество прекрасных отзывов и безусловное уважение, с которым относятся к слову митрополита Антония православные люди, побудили нас возобновить издание этого сборника бесед.



© Митрополит Антоний Сурожский, 1994

© Издательство «Сатись», оригинал-макет, оформление,
2002



От издателей

Книга представляет собой сборник бесед и интервью, опубликованных большей частью в периодике последних лет. Однако многие из этих изданий малотиражны («Церковь и время», «Литератор») или практически недоступны читателю в России («Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего экзархата»). При таком составе сборника неизбежны некоторые повторы: есть темы, к которым Владыка Антоний обращается часто; мы намеренно предпочли однако дать тексты без сокращений, в их первоначальном виде.

Несколько слов о «жанре» публикуемых текстов. Владыка никогда не пишет, не готовит свои выступления заранее. Такой подготовкой является вся его жизнь, целиком направленная к единственной цели: нести людям Евангелие Христово. Все вопросы и жизненные ситуации сегодняшнего дня вплетаются в евангельскую канву и возвращаются к слушателям живым словом, убедительным именно цельностью слова и жизни. Тексты печатаются с минимальной редакторской правкой ради того, что бы сохранить это звучание живого слова, обращенного не к безличной аудитории, а к каждому отдельному человеку.

Книга открывается пространным автобиографическим рассказом о ранних годах жизни Владыки. Для тех читателей, у которых эта книга – первая встреча с митрополитом

Антонием, дополняем его краткой справкой о внешних ве-
хах его жизни.

Митрополит Антоний Сурожский (в миру – Андрей Бо-
рисович Блум) родился в 1914 г. в семье сотрудника рус-
ской дипломатической службы (мать – сестра композитора
А. Н. Скрябина). Раннее детство Владыка провел в Персии,
где его отец был российским консулом. В 1920 году семья
с трудом добралась до Европы и после нескольких лет ски-
таний осела в Париже. Будущий митрополит окончил здесь
среднюю школу, затем биологический и медицинский фа-
культеты университета. В 1939 г., перед уходом на фронт хи-
рургом французской армии, тайно принес монашеские обе-
ты, в 1943 году был пострижен в мантию с именем Антония.
В годы немецкой оккупации – врач в антифашистском дви-
жении Сопротивления. После войны продолжал медицин-
скую практику до 1948 года, когда был призван к священ-
ству, рукоположен и направлен на пастырское служение в
Англию. Епископ с 1957 г., а в 1966 г. возведен в сан мит-
рополита и утвержден в должности Патриаршего Экзарха
в Западной Европе (обязанности которого исполнял уже с
1963 г.), Освобожден от должности по собственному про-
шению в 1974 г.; с тех пор полностью посвятил себя пас-
тырскому окормлению все увеличивающейся паствы своей
епархии и всех, кто обращается к нему за советом и помо-
щью. Его книги о молитве, о духовной жизни, вышедшие на
английском переведены на многие языки мира. Митрополит

Антоний – почетный доктор богословия Абердинского университета, этого звания он был удостоин «за проповедь слова Божия и обновление духовной жизни в стране», а Московской Духовной Академии – за совокупность научно-богословских, пастырских и проповеднических трудов.

Без записок

Расскажите, пожалуйста, о Вашем детстве...

У меня очень мало воспоминаний детства; у меня почему-то не задерживаются воспоминания. Отчасти потому, что очень многое наслоилось одно на другое, как на иконах: за пятым слоем не всегда разберешь первый; а отчасти потому, что я очень рано научился – или меня научили – что, в общем, твоя жизнь не представляет никакого интереса; интерес представляет то, для чего ты живешь. И поэтому я никогда не старался запоминать ни события, ни их последовательность – раз это никакого отношения ни к чему не имеет! Прав я или не прав – это дело другое, но так меня прошколили очень рано. И поэтому у меня очень много пробелов.

Родился я случайно в Лозанне, в Швейцарии¹; мой дед по материнской линии, Скрябин, был русским консулом на Востоке, в тогдашней Оттоманской империи, сначала в Турции, в Анатолии, а затем в той части, которая теперь Греция. Мой отец встретился с этой семьей, потому что тоже шел по дипломатической линии, был в Эрзеруме секретарем у моего будущего деда, познакомился там с моей матерью, и в свое время они поженились. Дед мой тогда уже вышел в отставку и проводил время— 1912–1913 годы— в Лозанне; отец же в

¹ Автобиографический рассказ Владыки Антония был записан в 1973 году. Первая публикация – журнал «Новый мир». 1991. № 1.

этот период был назначен искусственно консулом в Коломбо: это было назначение, но туда никто не ездил, потому что там ничего не происходило, и человека употребляли на что-нибудь полезное – но он числился. И вот, чтобы отдохнуть от своих коломбских трудов, они с моей матерью поехали в Швейцарию к ее отцу и моей бабушке.

Бабушка моя, мать моей матери, родилась в Италии, в Триесте; но Триеста в то время входила в Австро-Венгерскую империю; про ее отца я знал только, что его звали Илья, потому что бабушка была Ильинична; они были итальянцы... Мать моей бабушки позже стала православной с именем Ксения; когда бабушка вышла замуж, ее мать уже была вдова и уехала с ними в Россию.

Было их три сестры; старшая (впоследствии она была замужем за австрийцем) была умная, живая, энергичная и до поздней старости осталась такой же; и жертвенная была до конца. Она болела диабетом, напоследок у нее случилась гангрена; хотели оперировать (ей тогда было лет под восемьдесят), она сказала «нет»: ей всё равно умирать, операция будет стоить денег, а эти деньги она может оставить сестре, – так она и умерла. Так это мужественно и красиво. Младшая сестра была замужем за хорватом и крайне несчастна.

Мой дед Скрябин был в Триесте русским консулом и познакомился с этой семьей, и решил жениться на бабушке, к большому негодованию ее семьи, потому что замуж следовало сначала выдавать, конечно, старшую сестру – а бабушка

была средняя. И вот семнадцать лет она вышла замуж. Она была, наверное, удивительно чистосердечной и наивной, потому что и в девяносто пять лет она была удивительно наивна и чистосердечна. Она, например, не могла себе представить, чтобы ей соврали; вы могли ей рассказать самую невозможную вещь – она на вас смотрела такими детскими, теплыми, доверчивыми глазами и говорила: «Это правда?..»

Вы пробовали? В каких случаях? При необходимости?

Конечно, пробовал. Без необходимости, а просто ей расскажешь что-нибудь несосветимое, чтобы рассмешить ее, как анекдот рассказывают. Она и я никогда не умели вовремя рассмеяться; когда нам рассказывали что-нибудь смешное, мы всегда сидели и думали. Когда мама нам рассказывала что-нибудь смешное, она нас сажала рядом на диван и говорила: я вам сейчас расскажу что-то смешное, когда я вам подам знак, вы смейтесь, а потом будете думать...

Дедушка решил учить ее русскому языку; дал ей грамматику и полное собрание сочинений Тургенева и сказал: Теперь читай и учись... И бабушка действительно до конца своей жизни говорила тургеневским языком. Она никогда очень хорошо не говорила, но говорила языком Тургенева, и подбор слов был такой.

Вы, значит, еще и итальянец?

Очень мало, я думаю; у меня реакция такая антиитальян-

ская, они мне по характеру совершенно не подходят. Вот страна, где я ни за что не хотел бы жить; когда я был экзархом, я ездил в Италию, и всегда с таким чувством: Боже мой! *Надо* в Италию!.. У меня всегда было чувство, что Италия— это опера в жизни: ничего реального. Мне не нравится итальянский язык, мне не нравится их вечная возбужденность, драматичность, так что Италия, из всех стран, которые я знаю, пожалуй – последняя, где я бы поселился.

После свадьбы с дедушкой они приехали в Россию. Позже мой дед служил на Востоке, а мама была тогда в Смольном и приехала на каникулы к родителям (шесть дней на поезде из Петербурга до персидской границы, а потом на лошадях до Эрзерума), где и познакомилась с моим отцом, который был драгоманом, то есть, говоря по-русски, переводчиком в посольстве. Потом дед кончил срок своей службы, и, как я сказал, они уехали в Швейцарию – моя мать уже была замужем за моим отцом. А потом была война, и на войне погиб первый бабушкин сын; потом, в 1915 году, умер Саша, композитор; к тому времени мы сами – мои родители и я, с бабушкой же – попали в Персию (отец был назначен туда). Бабушка всегда была на буксире, она пассивная была, очень пассивная.

А мать была, видно, очень интенсивная?

Она интенсивная не была, она была энергичная, мужественная. Например, она ездила с отцом по всем горам, ездил-

ла верхом хорошо, играла в теннис, охотилась на кабана и на тигра – всё это она могла делать. Другое дело, что она совсем не была подготовлена к эмигрантской жизни, но она знала французский, знала русский, знала немецкий, знала английский, и это, конечно, ее спасло, потому что когда мы приехали на Запад, время было плохое – 1921 год и безработица, но тем не менее со знанием языка можно было что-то получить; потом она научилась стучать на машинке, научилась стенографии и работала уже всю жизнь.

Как отцовские предки попали в Россию, мне неясно; я знаю, что они в петровское время из Северной Шотландии попали в Россию, там и осели. Мой дед со стороны отца еще переписывался с двоюродной сестрой, жившей на северо-западе Уэстерн-Хайлендс; она была уже старушка, жила одна, в совершенном одиночестве, далеко от всего и, по-видимому, была мужественная старушка. Единственный анекдот, который я о ней знаю, это из письма, где она рассказывала деду, что ночью услышала, как кто-то лезет вверх по стене; она посмотрела и увидела, что на второй этаж подымается по водосточной трубе вор, взяла топор, подождала, чтобы он взялся за подоконник, отрубила ему руки, закрыла окно и легла спать. И всё это она таким естественным тоном описывала – мол, вот какие бывают неприятности, когда живешь одна. Больше всего меня поразило, что она могла закрыть окно и лечь спать; остальное – его дело.

Жили они в Москве, дедушка был врачом, а отец учился

дома с двумя братьями и сестрой; причем дед требовал, чтобы они полдня говорили по-русски, потому что естественно – местное наречие; а другие полдня – один день по-латыни, другой день по-гречески сверх русского и одного иностранного языка, который надо было учить для аттестата зрелости, – это дома. Потом он поступил на математический, кончил, и оттуда – в школу министерства иностранных дел, дипломатическую школу, где проходили восточные языки и то, что нужно было для дипломатической службы.

Отец рано начал ездить на Восток; еще семнадцати-восемнадцатилетним юношей он ездил на Восток летом, во время каникул, верхом один через всю Россию, Турцию – это считалось полезным. Про его братьев я ничего не знаю, они оба умерли; один был расстрелян, другой умер, кажется, от аппендицита. А сестра была замужем в Москве за одним из ранних большевиков; но я не знаю, что с ней случилось, и не могу вспомнить фамилию; долго помнил, а теперь не могу вспомнить. Вдруг бы оказалось, что кто-то еще существует: со стороны отца у меня ведь никого нет...

Моя бабушка с папиной стороны была моей крестной; на крестинах не присутствовала, только «числилась». Вообще, думаю, это не особенно всерьёз принималось, судя по тому, что никто из моих никогда в церковь не ходил до того, как впоследствии я стал ходить и их «водить»; отец начал ходить до меня, но это было уже значительно позже, после революции, в конце двадцатых – начале тридцатых годов.

В Лозанне в 1961 году я встретил священника, который меня крестил. Была очень забавная встреча, потому что я приехал туда молодым епископом (молодым по хиротонии), встретил его, говорю: «Отец Константин, я так рад вас снова повидать!» Он на меня посмотрел, говорит: «Простите, вы, вероятно, путаете, мы, по-моему, с вами не встречались». Я говорю: «Отец Константин! Как вам не стыдно, мы же с вами знакомы годами – и вы меня не узнаете?!» – «Нет, простите, не узнаю...» – «Как же, вы меня крестили!» Ну, он пришел в большое возбуждение, позвал своих прихожан, которые там были: смотрите, говорит, я крестил архиерея!.. А в следующее воскресенье я был у него в церкви, посередине церкви была книга, где записываются крестины, он мне показал, говорит: «Что же это значит, я вас крестил Андреем – почему же вы теперь Антоний?» В общем, претензия, почему я переименовал имя. А потом он служил и читал Евангелие по-русски, и я не узнал, что это русский язык был... Говорили мы с ним по-французски, служил он по-гречески, а Евангелие в мою честь читал на русском языке, – хорошо, что кто-то мне подсказал: вы заметили, как он старался вас ублажить, как он замечательно по-русски читает?.. Ну, я с осторожностью его поблагодарил.

Месяца два после моего рождения мы прожили с родителями в Лозанне, а потом вернулись в Россию. Сначала жили в Москве, в теперешнем Скрябинском музее, а в 1915–1916 году мой отец был снова назначен на Восток, и мы уехали в

Персию. И там я провел вторую часть относительно раннего детства, лет до семи.

Воспоминаний о Персии у меня ясных нет, только отрывочные. Я, скажем, глазами сейчас вижу целый ряд мест, но я не мог бы сказать, где эти места. Например, вижу большие городские ворота; это может быть Тегеран, может быть, Тавриз, а может быть и нет; почему-то мне снится, что это Тегеран или Тавриз. Затем мы очень много ездили, жили примерно в десяти разных местах.

Потом у меня воспоминание (мне было, я думаю, лет пять-шесть), как мы поселились недалеко, кажется, от Тегерана, в особняке, окруженном большим садом. Мы ходили его смотреть. Это был довольно большой дом, весь сад зарос и высох, и я помню, как я ходил и ногами волочил по сухой траве, потому что мне нравился треск этой сухой травы.

Помню, у меня был собственный баран и собственная собака; собаку разорвали другие, уличные собаки, а барана разорвал чей-то пес, так что все это было очень трагично. У барана были своеобразные привычки: он каждое утро приходил в гостиную, зубами вынимал из всех ваз цветы и их не ел, но клал на стол рядом с вазой и потом ложился в кресло, откуда его большей частью выгоняли; то есть в свое время всегда выгоняли, но с большим или меньшим возмущением. Постепенно, знаете, всё делается привычкой; в первый раз было большое негодование, а потом просто очередное событие: надо согнать барана и выставить вон...

Был осел, который, как все ослы, был упрям. И для того, чтобы на нем ездить, прежде всего приходилось охотиться, потому что у нас был большой парк, и осел, конечно, предпочитал пастись в парке, а не исполнять свои ослиные обязанности. И мы выходили целой группой, ползали между деревьями, окружали зверя, одни его пугали с одной стороны, он мчался в другую, на него накидывались, и в конечном итоге после какого-нибудь часа или полутора часов такой оживленной охоты осел бывал пойман и оседлан. Но этим не кончалось, потому что он научился, что если до того, как на него наложат седло, он падет наземь и начнет валяться на спине, то гораздо труднее будет его оседлать. Местные персы его отучили от этого тем, что вместо русского казачьего седла ему приделали персидское деревянное, и в первый же раз, как он низвергся и повалился на спину, он мгновенно взлетел с воем, потому что больно оказалось. Но и этим еще не кончалось, потому что у него был принцип: если от него хотят одного, то надо делать другое, и поэтому если вы хотели, чтобы он куда-то двигался, надо было его обмануть, будто вы хотите, чтобы он не шел. И самым лучшим способом было воссесть очень высоко на персидское седло, поймать осла за хвост и потянуть его назад, и тогда он быстро шел вперед. Вот воспоминание.

Еще у меня воспоминание о первой железной дороге. Была на всю Персию одна железная дорога, приблизительно в пятнадцать километров длиной, между не то Тегераном, не

то Тавризом и местом, которое называлось Керманшах и почиталось (почему – не помню) местом паломничества. И всё шло замечательно, когда ехали из Керманшаха в город, потому что дорога под гору шла. Но когда поезд должен был тянуть вверх, он доходил до мостика, вот такого с горбинкой, и тогда все мужчины вылезали, и белые, европейцы, люди знатные шли рядом с поездом, а люди менее знатные толкали. И когда его протолкнут через эту горбинку, можно было снова садиться в поезд и даже очень благополучно доехать, что было, в общем, очень занимательно и большим событием: ну подумайте – пятнадцать километров железной дороги!

Затем, когда мне было лет семь, я сделал первое великое открытие из европейской культуры: первый раз в жизни видел автомобиль. Помню, бабушка подвела меня к машине, поставила и сказала: «Когда ты был маленький, я тебя научила, что за лошадью не стоят, потому что она может лягнуться; теперь запомни: перед автомобилем не стоят, потому что он может пойти». Тогда автомобили держались только на тормозах, и поэтому никогда не знаешь, пойдёт или не пойдёт.

Были у вас какие-нибудь гувернеры?

В Персии была русская няня на первых порах; потом был период, примерно с 1918 по 1920 год, когда никого не было – бабушка, мама; были разные персы, которые научили ез-

дить верхом на осле и подобным вещам. Из культурной жизни ничего не могу сказать, потому что не помню, в общем, ничего. Было блаженное время – в школу не ходил, ничему меня не учили, «развивали», как бабушка говорила. Бабушка у меня была замечательная; она страшно много мне вслух читала, так что я не по возрасту много «читал» в первые годы: «Жизнь животных» Брема, три-четыре тома, все детские книги – можете сами себе представить. Бабушка могла читать часами и часами, а я мог слушать часами и часами. Я лежал на животе, рисовал или просто сидел и слушал. И она умела читать; во-первых, она читала красиво и хорошо, во-вторых, она умела сделать паузу в те моменты, когда надо было дать время как-то отреагировать; периодически она переставала читать, мы ходили гулять, и она затевала разговоры, о чем мы читали: нравственные оценки, чтобы это дошло до меня не как развлечение, а как вклад, и это было очень ценно, я думаю.

В 1920 году мы начали двигаться из Персии вон: перемена правительства, передача посольства и т. д. Отец остался, а мать, бабушка и я, мы пустились в дорогу куда-то на Запад. У нас был дипломатический паспорт на Англию, куда мы так никогда и не доехали; вернее, доехали, но уже значительно позже, в 1949 году. И вот отчасти верхом, отчасти в коляске проехали по северу Персии глубокой зимой, под конвоем разбойников, потому что это было самое верное дело. В Персии в то время можно было ездить под двумя конвоями: или

разбойников, или персидских солдат. И самое неверное дело был конвой персидских солдат, потому что они непременно вас ограбят, но вы на них жаловаться не можете: как же так? мы и не думали их грабить! мы же их защищали! кто-то на них напал, но мы не знаем, – наверное, переодетые!.. Если показывались разбойники, конвой сразу исчезал: зачем же солдаты будут драться, рисковать жизнью, чтобы их еще самих ограбили?! А с разбойниками было гораздо вернее: они либо охраняли вас, либо просто грабили.

Ну вот, под конвоем разбойников мы и проехали весь север Персии, перевалили через Курдистан, сели на баржу, проехали мимо земного рая: еще вплоть до Второй мировой войны там показывали земной рай и дерево Добра и Зла – там, где Тигр и Евфрат соединяются. Это замечательная картина: Евфрат широкий, синий, а Тигр быстрый, и воды его красные, и он врзается в Евфрат, и несколько сот метров еще видно в синих водах Евфрата струю красных вод Тигра... И вот там довольно большая поляна в лесу и посреди поляны огражденное решеточкой маленькое иссохшее деревце: вы же понимаете, что оно, конечно, высохло с тех пор... Оно всё увешено маленькими тряпочками: на Востоке в то время (не знаю, как теперь), когда вы проходили мимо какого-нибудь святого места, то отрывали лоскут одежды и привешивали к дереву или к кусту или, если нельзя было это сделать, клали камень, и получались такие груды. И там это деревце стояло; оно чуть не потерпело крушение, потому

что во время Второй мировой войны американские солдаты его вырыли, погрузили на джип и собирались уже везти в Америку: дерево Добра и Зла – это же куда интереснее, чем перевезти какой-нибудь готический собор, всё-таки гораздо старше. И местное население их окружило и не дало джипу двигаться, пока командование не было предупреждено и их не заставили вырыть обратно дерево Добра и Зла. Так что оно еще, вероятно, там и стоит...

В этот период я в первый и в последний раз курил. На пути было удивительно голодно и еще более, может быть, скучно, и я все ныл, чтобы мне что-нибудь дали съесть, чтобы скоротать время. А есть было нечего, и моя мать пробовала отвлечь мое внимание папиросой. В течение недели я попробовал курить, пососал одну папиросу, пососал другую, пососал третью, но понял, что папироса – это чистый обман, что это не пища и не развлечение, и на этом кончилась моя карьера курильщика. Потом тоже не курил, но совсем не из добродетельных соображений. Мне говорили: закуришь, как все, – а я не хотел быть, как все. После говорили, что закуришь, когда попадешь в анатомический театр, потому что иначе никто не выдерживает, и я решил – умру, но не закурю; говорили, что когда попаду в армию, закурю; но так и не закурил.

Так мы доехали до Басры, и так как в то время в океане были мины, то самый короткий путь на запад был от Басры в Индию, и мы поехали на восток, к Индии; там прожили с месяц, и единственное, что я помню, это красный цвет бомбей-

ских зданий; высокие башни, куда парсы складывают своих усопших, чтобы их хищные птицы съели, и целые стаи орлов и других хищных птиц кружили вокруг этих башен; это единственное воспоминание, которое у меня осталось, кроме еле выносимой жары.

А затем нас отправили в Англию, и тут я был полон надежд, которые, к сожалению, не оправдались. Нас посадили на корабль, предупредив, что он настолько обветшал, что, если будет буря, он непременно потерпит крушение. А я читался «Робинзона Крузо» и всяких интересных вещей и, конечно, мечтал о буре. Кроме того, капитан был полон воображения, если не разума, и решил, что всем членам семьи зараз погибать не надо, и поэтому маму приписал к одной спасательной лодке, бабушку – к другой, меня – к третьей, чтобы хоть один из нас выжил, если будем погибать. Мама очень несочувственно отнеслась к мысли о кораблекрушении, и я никак не мог понять, как она может быть такой неромантичной.

Двадцать три дня мы плыли из Бомбея до Гибралтара, а в Гибралтаре так и стали: корабль решил никогда больше не двигаться никуда. И нас высадили, причем большую часть багажа мы получили, но один большой деревянный ящик уплыл, то есть был перевезен в Англию, и мы получили его очень много лет спустя; англичане нас где-то отыскали и заставили уплатить фунт стерлингов за хранение. Это было громадное событие, потому что это был один из тех ящиков,

куда в последнюю минуту вы сбрасываете все то, что в последнюю минуту вы не можете оставить. Сначала мы разумно упаковали то, что нужно было, потом – что можно было, и оставили то, что никак уже нельзя было взять, а в последнюю минуту – сердце не камень, и в этот ящик попали самые, конечно, драгоценные вещи, то есть такие, которые меня как мальчика потом интересовали в тысячу раз больше, чем теплое белье или полезные башмаки. Но это случилось уже позже.

И вот мы пропутешествовали через Испанию, и единственное мое воспоминание об Испании – это Кордова и мечеть. Я ее не помню глазами, но помню впечатление какой-то дух захватывающей красоты и тишины. Затем север Испании: дикий, сухой, каменистый и который так хорошо объясняет испанский характер.

Затем попали в Париж, и там я сделал еще два открытия. Одно: впервые в жизни я обнаружил электричество – что оно вообще существует. Мы куда-то въехали, было темно, и я остановился и сказал: надо лампу зажечь. Мама сказала: нет, можно зажечь электричество. Я вообще не понимал, что это, и вдруг услышал: чик – и стало светло. Это было большим событием; знаете, в позднейших поколениях этого не понять, потому что с этим рождаются; но тогда это было такое непонятное явление, что может вдруг появиться свет, вдруг погаснуть, что не надо заправлять керосиновую лампу, что она не коптит, что не надо чистить стекла – целый мир вещей

исчез...

А второе открытие – что есть люди, которых на улице давить нельзя. Потому что в Персии было так: по улице мчится всадник или коляска, и всякий пешеход спасает свою жизнь, кидаясь к стене; если ты недостаточно быстро кинулся, тебя кнутом огреют, а если не кинешься – тебя опрокинут: сам виноват, чего лезешь под ноги лошади! И вот мы ехали, по моему, в первый день с вокзала на такси по Елисейским полям, то есть по громадной улице, – тогда почти не было автомобилей, всё было очень открыто, не было никаких магазинов вдоль улицы, это было очень красиво, – и вдруг я вижу: посреди улицы стоит человек и никуда не кидается, просто стоит, как вкопанный, и коляски, автомобили вот так проходят. Я схватил маму за руку, говорю: Мама! Его надо спасти!.. Мы ведь тоже были на машине, могли остановиться и сказать: скорей, скорей влезай, спасем!.. И мама мне сказала: Нет, это городской. – Ну так что же, что он городской?! Мама говорит: Городового нельзя давить... Я подумал: это же чудо! Если стать городovým, то можно на всю жизнь спастись от всех бед и несчастий!.. Со временем я несколько переменял свои взгляды, но в тот момент я действительно переживал это как дипломатический иммунитет: стоишь – и тебя не могут раздавить! Вы понимаете, что это значит?! Вот это было второе большое событие в моей европейской жизни.

Это все, что я тогда в Париже обнаружил. Потом мы поехали в Австрию – все в поисках какой-нибудь работы для

матери, – а в Австрии еще была жива бабушкина старшая сестра, которая была замужем за австрийцем. Потом поехали в северную Югославию, в область Загреба и Марибора. Там мы жили какое-то время на ферме, мне было тогда лет семь, и я что-то подрабатывал, делая никому, вероятно, не нужные какие-то работы. Затем снова вернулись в Австрию, потому что в Югославии нечего было делать, и полтора года сидели в Вене.

И там мне пришлось пережить первые встречи с культурой: меня начали учить писать и читать, и я этому поддавался очень неохотно. Я никак не мог понять, зачем это мне нужно, когда можно спокойно сидеть и слушать, как бабушка читает вслух— так гладко, хорошо, – зачем же еще что-то другое? Один из родственников пытался меня вразумить, говоря: видишь, я хорошо учился, теперь имею хорошую работу, хороший заработок, могу поддерживать семью... Я его только спросил: ты не мог бы делать это за двоих?

Так или иначе, в Вене я попал в школу и учился года полтора и отличился в школе очень позорным образом – вообще школа мне не давалась в смысле чести и славы. Меня водили как-то в зоологический сад, и, к несчастью, на следующий день нам задали классную работу на тему «чем вы хотите быть в жизни». И, конечно, маленькие австрияки написали всякие добродетельные вещи: один хотел быть инженером, другой – доктором, третий еще чем-то; а я был так вдохновлен тем, что видел накануне, что написал – даже с чудной, с

моей точки зрения, иллюстрацией – классную работу на тему: «Я хотел бы быть обезьяной». На следующий день я пришел к школе с надеждой, что оценят мои творческие дарования. И учитель вошел в класс и говорит: вот, мол, я получил одну из ряда вон выдающуюся работу. «Встань!» Я встал – и тут мне был разнос, что «действительно видно: русский варвар, дикарь, не мог ничего найти лучшего, чем возвращение в лоно природы» и т. д. и т. п.

Вот это основные события из школьной жизни там. Два года назад я впервые снова попал в Вену и наговаривал ленты для радио; и тот, кто делал запись, меня спросил, был ли я когда-нибудь в Вене. «Да». – «А что вы тогда делали?» – «Я был в школе». – «Где?» – «В такой-то»... Оказалось, что мы одноклассники, после пятидесяти лет встретились; ну, конечно, друг друга не узнали, и дальше знакомство не пошло.

А на каких языках вы с детства говорили?

Меня с детства заставляли говорить по-русски и по-французски; по-русски я говорил с отцом, по-французски – с бабушкой, на том и на другом языке с матерью. И единственное, что было запрещено, это мешать языки, это преследовалось очень строго, и я к этому просто не привык. Ну, по-персидски говорил свободно. Это я, конечно, забыл в течение трех-четырех лет, когда мы уехали из Персии, но интересно, что когда я потом жил в школе-интернате и во сне разговаривал, видел сны и говорил, я говорил по-персидски,

тогда как наяву уже ни звука не мог произнести и не мог понять ни одного слова. Любопытно, как это где-то в подсознании осталось, в то время как из сознания изгладилось совершенно. Потом немецкий: меня в раннем детстве научили произносить немецкий по-немецки, это очень помогло и теперь помогает. В хорошие дни у меня по-немецки, в общем, меньше акцента, чем по-французски. Когда ты год не говоришь на каком-то языке, потом ты уже ничего не можешь. Но самый замечательный комплимент я не так давно получил о моем немецком от кёльнского кардинала, который был слеп; когда я с ним познакомился, мы с ним поговорили и он мне сказал: «Можно вам задать нескромный вопрос?» Я говорю: Да. – «Каким образом вы, немец, стали православным?» Я задрал нос, потому что слепой человек большей частью чуток на звук. Но это был хороший день просто, потому что в более усталые дни я не всегда так хорошо говорю, но могу, когда случится... Испанский— читаю; итальянский – это вообще не проблема; голландский – легкий, потому что страшно похож на немецкий язык XII–XIII веков. Когда голова совсем дуреет, читаю для отдыха немецкие стихи этой эпохи.

А когда вы маленьким были, были какие-то обязанности, или просто как рос, так и рос?

О нет! Прежде всего, с меня ничего не требовали неразумного, то есть у меня никогда не было чувства, что требу-

ют, потому что родители большие и сильные и поэтому могут сломить ребенка. Но с другой стороны, если что-то говорилось – никогда не отступали. И – я этого не помню, мама мне потом рассказывала – она мне как-то раз что-то велела, я воспротивился; мне было сказано, что так оно и будет, и я два часа катался по полу, грыз ковер и визжал от негодования, отчаяния и злости, а мама села тут же в комнате в кресло, взяла книжку и читала, ждала, чтобы я кончил. Няня несколько раз приходила: Барыня, ребенок надорвется! А мама говорила: Няня, уйдите!.. Когда я кончил, вывопился, она сказала: Ну, кончил? Теперь сделай то, что тебе сказано было... Это был абсолютный принцип.

А потом принцип воспитания был такой, что убеждения у меня должны сложиться в свое время свои, но я должен вырасти совершенно правдивым и честным человеком, и поэтому мне никогда не давали повода лгать или скрываться, потому что меня не преследовали. Скажем, меня могли наказывать, но в этом всегда был смысл, мне не приходилось иметь потаенную жизнь, как иногда случается, когда с детьми обращаются не в меру строго или несправедливо: они начинают просто лгать и устраивают свою жизнь иначе.

У нас была общая жизнь; ответственности требовали от меня, – скажем, с раннего детства я убирал свою комнату: стелил постель, чистил за собой. Единственное, чему меня так и не научили, это чистить башмаки, и я уже потом, во время войны, нашел духовное основание этого не делать, ко-

гда прочел у Cure d'Аrs фразу², что вакса для башмаков – то же самое, что косметика для женщины, и я страшно обрадовался, что у меня есть теперь оправдание. Знаете, у всякого ребенка есть какие-то вещи, которые он находит ужасно скучными. Я всегда находил ужасно скучным пыль вытирать и башмаки чистить. Теперь-то я научился делать и то и другое. Ну, и потом все домашние работы мы делали вместе, причем именно вместе: не то что «пойди и сделай, а я почи- таю», а «давай мыть посуду», «давай делать то или другое», и меня научили, как будто.

Это еще в Персии?

Нет, тогда была совсем, насколько я помню, свободная жизнь: большой сад при посольском имении, осел, – ничего, в общем, не требовалось. Кроме порядка: никогда бы мне не разрешили пойти гулять, если не прибрал книги или игрушки, или оставил комнату в беспорядке, – это было немисли- мо.

И теперь я так живу; скажем, облачения и алтарь я после каждой службы убираю, даже если между службами Выно- са Плащаницы и Погребения остаются какие-нибудь полто- ра часа, всё складываю. Именно на том основании, что в мо- мент, когда что-то кончено, оно должно быть так закончено, как будто, с одной стороны, ничего и не случилось, а с другой

² «Арский кюре» – Жан-Мари Вианне (1786–1859), французский святой, из- вестный приходской священник.

стороны – всё можно начать снова: это так помогает жить! Например, меня научили с вечера всё готовить на завтра. Мой отец говорил: мне жить хорошо, потому что у меня есть слуга Борис, который вечером всё сложит, башмаки вычистит, всё приготовит, а утром Борис Эдуардович встанет – ему делать нечего.

А маленьким вас баловали?

Ласково относились, но не баловали – в том смысле, что это не шло за счет порядка, дисциплины или воспитания. Кроме того, меня научили с самого детства ценить маленькие, мелкие вещи; а уж когда началась эмиграция, тогда сугубо ценить, скажем, один какой-то предмет; одна какая-нибудь вещица – это было чудо, это была радость, и это можно было ценить годами. Скажем, какой-нибудь оловянный солдатик или какая-нибудь книга – с ними жили месяцами, иногда годами, и за это я очень благодарен, потому что я умею радоваться на самую мелкую вещь в момент, когда она приходит, и не обесценивать ее никогда. Подарки делали, но не топили в подарках, даже тогда, когда была возможность, так что глаза не разбегались, чтобы можно было радоваться на одну вещь. На Рождество однажды я получил в подарок – до сих пор его помню – маленький русский трехцветный флаг из шелка; и я с этим флагом настолько носился, до сих пор как-то чувствую его под рукой, когда я его гладил, этот самый шелк, его трехцветный состав. Мне тогда объяснили,

что это значит, что это наш русский флаг: русские снега, русские моря, русская кровь – и это так и осталось у меня: белоснежность снегов, голубизна вод и русская кровь.

Во Франции, когда мы попали туда с родителями, довольно-таки туго было жить. Моя мать работала, она знала языки, а жили очень розно, в частности – все в разных концах города. Меня отдали живущим в очень, я бы сказал, трудную школу; это была школа за окраиной Парижа, в трущобах, куда ночью, начиная с сумерек, и полиция не ходила, потому что там резали. И, конечно, мальчишки, которые были в школе, были оттуда, и мне это далось в начале чрезвычайно трудно; я просто не умел тогда драться и не умел быть битым. Били меня беспощадно – вообще считалось нормальным, что новичка в течение первого года избивали, пока не научится защищаться. Поэтому вас могли избить до того, что в больницу увезут, перед глазами преподавателя. Помню, я раз из толпы рванулся, бросился к преподавателю, вопия о защите, – он просто ногой меня оттолкнул и сказал: Не жалуйся! А ночью, например, запрещалось ходить в уборную, потому что это мешало спать надзирателю. И надо было бесшумно сползти с кровати, проползти под остальными кроватями до двери, умудриться бесшумно отворить дверь – и т. д.; за это бил уже сам надзиратель.

Ну, били, били и, в общем, не убили! Научили сначала терпеть побои; потом научили немного драться и защищаться – и когда я бился, то бился насмерть; но никогда в жизни я

не испытывал так много страха и так много боли, и физической, и душевной, как тогда. Потому что я был хитрая скотинка, я дал себе зарок ни словом не обмолвиться об этом дома: всё равно некуда было деться, зачем прибавлять маме еще одну заботу? И поэтому я впервые рассказал ей об этом, когда мне было лет сорок пять, когда это уже было дело отзвеневшее. Но этот год было действительно тяжело; мне было восемь-девять лет, и я не умел жить.

Через сорок пять лет я однажды ехал в метро по этой линии; я читал, в какой-то момент поднял глаза и увидел название одной из последних станций перед школой – и упал в обморок. Так что, вероятно, это где-то очень глубоко засело: потому что я не истерического типа и у меня есть какая-то выдержка в жизни, – и это меня так ударило где-то в самую глубину. Это показывает, до чего какое-нибудь переживание может глубоко войти в плоть и кровь.

Но чему я научился тогда, кроме того чтобы физически выносить довольно многое, это те вещи, от которых мне пришлось потом очень долго отучиваться: во-первых, что всякий человек, любого пола, любого возраста и размера, вам от рождения враг и опасность; во-вторых, что можно выжить, только если стать совершенно бесчувственным и каменным; в-третьих, что можно жить, только если уметь жить, как зверь в джунглях. Агрессивная сторона во мне не очень развилась, но вот эта убийственная другая сторона, чувство, что надо стать совершенно мертвым и окаменелым, чтобы

выжить, – ее мне пришлось годами потом изживать, действительно годами.

В полдень в субботу из школы отпускали, и в четыре часа в воскресенье надо было возвращаться, потому что позже идти через этот квартал было опасно. А в свободный день были другие трудности, потому что мама жила в маленькой комнатухе, где ей разрешалось меня видеть днем, но ночевать у нее я не имел права. Это была гостиница, и часов в шесть вечера мама меня торжественно выводила за руку так, чтобы хозяин видел; потом она возвращалась и разговаривала с хозяином, а я в это время на четвереньках проползал между хозяйской конторкой и мамиными ногами, заворачивал за угол коридора и пробирался обратно в комнату. Утром я таким же образом выползал, а потом мама меня торжественно приводила, и это было официальным возвращением после ночи, проведенной «где-то в другом месте». Нравственно это было очень неприятно, – чувствовать, что ты не только лишний, но просто положительно нежеланный, что у тебя места нет, нигде его нет. Не так удивительно поэтому, что мне случалось в свободные дни бродить по улицам в надежде, что меня переедет автомобиль и что всё это будет кончено.

Были всё же очень светлые вещи; скажем, этот день, который проводился дома, был очень светлый, было много любви, много дружбы, бабушка много читала. Во время каникул – они были длинными – мы уезжали куда-нибудь в дерев-

ню, и я нанимался на фермы делать какие-то работы. Помню первое разочарование: работал целую неделю, должен был заработать пятьдесят сантимов, держал их в кулаке и с восторгом из этой деревни возвращался в другую деревню; шел, как мальчишка, размахивая руками, и вдруг эти пятьдесят сантимов вылетели у меня из кулака. Я их искал в поле, в траве – нигде не нашел, и мой первый заработок так и погиб.

Игрушки? Если вспоминать игрушки, я могу вспомнить – ну, помимо осла, который был на особом положении, потому что это был зверь независимый, этот русский флаг, помню двух солдатиков, помню маленький конструктор; помню, в Париже продавали тогда маленькие заводные sidescars, мотоцикл с коляской, – такой был... И потом помню первую книгу, которую я купил сам, – «Айвенго» Вальтера Скотта; «выбрал» я ее потому, что это была единственная книга в лавке; это была малюсенькая лавка и единственная детская книга. Бабушка решила, что мы можем себе позволить купить книжку, и я отправился; продавщица мне сказала: о, ничего нет, есть какая-то книжка, перевод с английского, называется «Иваноэ» (французское произношение «Айвенго»), – и посоветовала не покупать. И когда я вернулся домой бабушке рассказать, она говорит: немедленно беги покупай, это очень хорошая книга. До этого мы еще в Вене с бабушкой прочитали, вероятно, всего Диккенса; позже я разочаровался в Диккенсе; он такой сентиментальный, я тогда не замечал этого, но это такой шарж, такая сентиментальность, что

очень многое просто пропадает. Вальтер Скотт – неровный писатель, то есть он замечательный писатель в том, что хорошо, и скучный, когда ему не удается, а эта книга мне тогда сразу понравилась. Ну, «Айвенго» такая книга, которая не может мальчику не понравиться.

Были вещи, которых вы боялись, – темной комнаты, диких зверей?

Нет, диких зверей я не специально боялся, просто не было случая особенно бояться. Ну, бывали кабаны у нас в Персии, они были в степи, заходили в сад; бывали другие дикие звери, но они по ночам рыскали, а меня всё равно ночью из дома не пускали, поэтому ничего особенно страшного не было. А темной комнаты я боялся, но я не скрывал таких вещей. С одной стороны, надо мной никогда не смеялись ни за какие страхи, ни за какие предрассудки, детские свойства; а отец в те периоды, когда мы были вместе, во мне развивал мужественные свойства просто рассказами о мужественных поступках, о том, какие были люди, и поэтому я сам тянулся к этому. Не к какому-то особенному героизму, а к тому, что есть такое понятие – мужество, которое очень высоко и прекрасно; поэтому мальчиком я себя воспитывал очень много в дисциплине. Когда я начал уже больше сознавать, когда мне было лет одиннадцать-двенадцать, я в себе воспитывал физическую выдержку. Отец, например, считал, позором, если ты возьмешь горячую кастрюлю и ее выпустишь из

рук: держи! А если обожжешь пальцы – потом посмотрим. Это также относилось к утомлению, к боли, к холоду и так далее. Я себя очень воспитывал в этом отношении, потому что мне казалось, что это – да! Это мужественное свойство. Когда мне было лет пятнадцать-шестнадцать, я годами спал при открытом окне без одеяла, и когда было холодно, я вставал, делал гимнастику, ложился обратно – ну, всё это впрок, как будто, пошло.

Затем школьные годы пошли дальше, три года в той же школе. Почему? Она была самая дешевая, во-первых, затем, единственная по тому времени вокруг Парижа и в самом Париже, где мне можно было быть живущим. Потом меня перевели в другую – там был просто рай земной, божьи коровки, после того, что я видел в первой школе; самые ярые были просто, как картинки.

Школьную дисциплину вы принимали?

Я был слишком ленив для того, чтобы быть шаловливым мальчиком; у меня было чувство, что шалости просто того не стоят. Меня школа не интересовала, меня интересовали только русские организации; и кроме того, я обнаружил очень важную вещь: если ты учишься плохо, ты два года сидишь в одном классе, и так как я хотел избавиться от школы поскорее, то я всегда учился так, чтобы не засидеться; это было моим основным двигателем. А некоторые предметы я любил и ими занимался; то есть «некоторые», множествен-

ное число – почти преувеличение, потому что я увлекался латынью. Меня всегда интересовали и увлекали языки, латынь мне страшно нравилась, потому что одновременное латынью я увлекся архитектурой, а латынь и архитектура одного свойства: это язык, который весь строится по определенным правилам, именно как строишь здание – и грамматика, и синтаксис, и положение слов, и соотношение слов, – и этим меня латынь пленила. Немецкий я любил, немецкую поэзию, которую я и до сих пор люблю. Про архитектуру, когда мне было лет десять, я очень много читал, а потом успокоился, увлекся другим – воинским строем, тем, что называлось родинованием, то есть всем, что относилось к России, – историей, географией, языком опять-таки; и жизнью ради нее. Я учился во французской школе, и там идеологической подкладки никакой не было: просто приходили, учились и уходили, или жили в интернате, но всё равно ничего не было за этим.

Товарищи были по школе или по организации?

Нет. Были товарищи в организации, то есть люди, мальчишки, которых я любил больше или меньше, но я никогда ни к кому не ходил и никогда никого не приглашал.

Принцип?

Просто желания не было; я любил сидеть дома у себя в комнате один. Я повесил у себя на стене цитату из Вовенар-

га³: «Тот, кто ко мне придет, окажет мне честь; кто не придет, доставит мне удовольствие»; и единственный раз, когда я пригласил мальчика в гости, он посмотрел на цитату и ушел. Общительным я никогда не был; я любил читать, любил жить со своими мыслями и любил русские организации. Я их рассматривал как место, где из нас куют что-то, и мне было всё равно, кто со мной, если он разделяет эти мысли; нравится он мне или не нравится – мне было совершенно всё равно, лишь бы он был готов головой стоять за эти вещи.

Я уже не был живущим в школе, у меня было немножко больше времени, и я попал в первую свою русскую организацию, скаутскую, вроде пионеров, которая отличалась от других тем, что, кроме обычных летних лагерных занятий, таких, как палатки, костры, готовка на улице, лесные походы и так далее, нам прививалась русская культура и русское сознание; лет с десяти-одиннадцати нас учили воинскому строю, и всё это с тем, чтобы когда-нибудь вернуться в Россию и отдать России обратно всё, что мы смогли собрать на Западе, чтобы мы могли быть действительно и физически и умственно готовы к этому... Так нас учили в течение целого ряда лет; летние лагеря длились месяц-полтора, строгие, суровые лагеря; обыкновенно часа три в день воинского строя, гимнастика, спорт, были занятия по русским предметам; спали на голой земле, ели очень мало, потому что тогда очень трудно было вообще найти каких-нибудь денег, но жи-

³ Французский моралист XVIII века.

ли очень счастливо. Возвращались домой худющие; сколько бы ни купались – в речке, в море – возвращались грязные до неопиcуемости,

Французский моралист XVIII века. потому что, конечно, больше плавали, чем отмывались. И вот так из года в год строилась большая община молодежи. Последний раз, когда я уже был не мальчиком, а взрослым и заведовал таким летним лагерем, то в разных лагерях на юге Франции нас было более тысячи молодых людей и девушек, девочек и мальчиков.

В 1927 году (просто потому, что та группа, в которой я участвовал, разошлась, распалась) я попал в другую организацию, которая называлась «Витязи» и которая была организована Русским Студенческим Христианским Движением, где я пустил корни и где остался; я, в общем, никогда не уходил оттуда – до сих пор. Там всё было так же, но были две вещи: культурный уровень был гораздо выше, от нас ожидали гораздо большего в области чтения и в области знания России; а другая черта была – религиозность, при организации был священник и в лагерях была церковь. И в этой организации я сделал ряд открытий. Во-первых, из области культуры; похоже, все мои рассказы о культуре мне в стыд и осуждение, но ничего не поделаешь. Помню, однажды у нас в кружке мне дали первое задание – думаю, мне было лет четырнадцать – прочесть реферат на тему «отцы и дети». Моя культурность тогда не доходила до того, чтобы знать,

что Тургенев написал книгу под этим названием. И поэтому я сидел и корпел и думал, что можно сказать на эту тему. Неделю я просидел, продумал и, конечно, ничего не надумал. Помню, пришел на собрание кружка, забрался в угол в надежде, что забудут, может быть, пронесет. Меня, конечно, вызвали, посадили на табуретку и сказали: ну?.. Я посидел, помялся и сказал: я всю неделю думал над заданной мне темой... И замолчал. Потом в последующем глубоком молчании, прибавил: но я ничего не придумал... Этим кончилась первая лекция, которую я в жизни читал.

А затем, что касается Церкви, то я был очень антицерковно настроен из-за того, что я видел в жизни моих товарищей католиков или протестантов, так что Бога для меня не существовало, а Церковь была чисто отрицательным явлением. Основной мой опыт в этом отношении был, может быть, такой. Когда мы оказались в эмиграции в 1923 году, Католическая Церковь предложила стипендии для русских мальчиков и девочек в школы. Помню, мама меня повела на «смотрины», со мной поговорил кто-то и с мамой тоже, и всё было устроено, и мы думали, что дело уже в шляпе. И мы уже собрались уходить, когда тот, кто вел с нами разговор, нас на минутку задержал и сказал: конечно, это предполагает, что мальчик станет католиком. И я помню, как я встал и сказал маме: уйдем, я не хочу, чтобы ты меня продавала. И после этого я кончил с Церковью, потому что у меня родилось чувство, что если это Церковь, тогда, право, совершен-

но нечего туда ходить и вообще этим интересоваться; просто ничего для меня в этом не было... Должен сказать, что я был не единственным; летом, когда бывали лагеря, в субботу была всенощная, литургия в воскресенье, и мы систематически не вставали к литургии, но отворачивали борта палатки, чтобы начальство видело, что мы лежим в постели и никуда не идем. Так что, видите, фон для религиозности у меня был весьма сомнительный. Кроме того, были сделаны некоторые попытки моего развития в этом смысле: меня раз в год, в Великую пятницу, водили в церковь, и я сделал с первого раза замечательное открытие, которое мне пригодилось навсегда (то есть на тот период): я обнаружил, что если войду в церковь шага на три, глубоко потяну носом и вдохну ладана, я мгновенно падаю в обморок. И поэтому дальше третьего шага я никогда в церковь не заходил. Падал в обморок – и меня уводили домой, и на этом кончалась моя ежегодная религиозная пытка.

И вот в этой организации я обнаружил одну сначала очень меня озадачившую вещь. В 1927 году в детском лагере был священник, который нам казался древностью – ему было, наверное, лет тридцать, но у него была большая борода, длинные волосы, резкие черты лица и одно свойство, которое никто из нас себе не мог объяснить: это то, что у него хватало любви на всех. Он не любил нас в ответ на предложенную ему любовь, ласку, он не любил нас в награду за то, что мы были «хорошие» или послушные, или там что-нибудь в этом

роде. У него просто была через край сердца изливающаяся любовь. *Каждый*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.